

Истинно говорю вам, и во (всём) Израиле не нашел
Я такой веры. Говорю же вам, что многие придут с востока и
запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом
в Царстве Небесном; а сыны царства извержены
будут во тьму внешнюю: там будет плач и скрежет зубов.

(Мф., 25 зач., 8, 5–13)

Эмалевый крестик в петлице
И серой тужурки сукно...
Какие печальные лица
И как это было давно.

Какие прекрасные лица
И как безнадежно бледны —
Наследник, императрица,
Четыре великих княжны...

Георгий Иванов

Обнулению не подлежит

В марте 2019 года, к 79-летию писателя, издательство «Вече» представило 14-томное Собрание сочинений В.В. Личутина, в него вошёл и новый роман нашего живого классика «В ожидании Бога». Роман писался с 2011 по 2016 годы, а охватывает собой период русской жизни с семидесятых годов прошлого века по двухтысячные или, как их ещё любят называть у нас — нулевые нынешнего. В слове «нулевые» таится много чего, первое и на поверхности — это никакие, но и — обнуление тоже маячит. Уж очень хотели что-то «обнулить» запустившие это словечко! Уж не весь ли XX век нашей истории — с его потом и кровью, славой и позором? С его нераскаянными злодеяниями и оплётанными завоеваниями? Но... не получилось.

И вот в канун столетия Цареубийства появляется новый роман писателя. Он — о художниках. В русской литературе были попытки приблизиться к постижению этого таинственного дарования Божьего — живописания. Мистические («Портрет» Гоголя), неоконченные («Чёртовы куклы» Лескова), никакие — у Чехова. Но, в общем-то — мир литературы и мир краски и кисти существовали в нашей словесности параллельно (к слову сказать, у иноземцев здесь задалось поболее — начиная от Уайльда и Джойса до Орхана Памука включительно).

Личутину удалось всё: характеры русских живописцев (собираательные образы наиболее ярких наших художников конца XX века — кто-то разглядит Зверева, кто-то найдёт Шемякина, кому-то почудятся судьбы Глазунова и Шилова), их мятение и непокой, споры до четвёртых петухов, антисоветчина и богоискательство, портреты партийных бонз и утренние побудки в вытрезвителе. Жизнь. Настоящая, та самая. Кто помнит. Позднесоветская. Как казалось — жизнь в преддверии чего-то большого. Как казалось...

Художную братию наш классик смело разбавляет писателями — как выдуман-ными (главный герой романа — литератор Николай Янин), так и всамделишными — Юрием Кузнецовым, Станиславом Куняевым, Александром Прохановым. Да и сам Личутин где-то там на заднем плане с рюмочкой в руке порой проскакивает, даже в споры ввязывается, куда ж без этого.

Но... Даже если бы удалось взять весь мёд и горечь этого романа и смешать с типографской краской и электронами жидкокристаллического экрана компьютера — всё равно дальнейший разговор об этом чуде будет пустым. Неубедительным. Ненужным. Как-то даже неудобно становится за сорокалетних собратьев (я уж не говорю про тридцатилетних), когда читаешь Личутина. Семидесятидевятiletнего. И в то же время — радостно. Радостно, что он есть, он рядом, страдает, думает, кричит, плачет. Смеётся. Его смех — особый, сродни шолоховскому:

«— А ты, голубушка, куда в обыдень так вырядилась? — старушонка цепко впиалась взглядом в невестку, словно бы не видела, когда та сряжалась.

— На кудыкину гору... Слыхала такую? Сказывали бабы на рынке, что мужиков нынче задарма дают, сколько хошь бери. Так хотела парочку кобелей подод-брать. И тебе могу привезть завалыщенького, чернявенького, с ухват...

— Тьфу, Алька... Отсох бы твой язык.

— А кто даве болтал? Мне бы, говоришь, хоть и полено березовое, только бы мужичком припахивало.

— Алька, бесстыжие твои глаза. Вот нажалуюсь Стёпе, он тебя попотчует че-рез колено да тем поленом...»

Плотной, бесстыдствующий хохоток у Личутина глубоко народен — ибо вьётся вокруг родового, родильного начала, вокруг народного. А народ, если кто позабыл, от слова народить, следовательно, все бездетные и малодетные «любители народа» суть болтуны. В лучшем случае. Поэтому-то и говорок и шуточка Ли-чутина народны, ибо они вокруг рождения, а не вокруг вырождения; ведь есть же и такой педерастический хохоток, такое однополое хихиканье, прочно укоренив-шееся в западных культурках с XIX века. Да и в русской словесности глянцево-попугаи современности и лидеры мейнстрима тоже нороят им блеснуть, только юморок их не народен, а безроден и прямо инороден русской культуре. Как, в об-щем-то, и они сами.

«Горыню называли вторым Левитаном, предвосхищали ему великое будущее, но в картинах Исаака Левитана всю душевность запечатленной природы переби-вала неистребимая печаль, словно бы художник, списывая русскую провинцию, постоянно, как скопец из султанского гарема, ощущал себя не в северной стране, а на обетованной родине, откуда однажды ещё ребенком похитили его и угнали на невольничий рынок.

Печаль заразительна, как эпидемия холеры, она овладевает окружением, не спрашивая на то дозволения. Радость же требует объяснения, душевной слиян-ности; ведь радоваться за ближнего, — крайне трудно, надо носить в себе осо-бое родственное, любовное неиссякающее благоволение. А как писать радостные

картины, когда тебе горько, тоскливо, внутренне неустроенно и болезненно, когда постоянно точит, иссушает хворь? Да, Левитан был пропитан сыновьей нежностью к божьему, так прекрасно, так пречудно устроенному миру, но художника изъедала чахотка; он был сирота, бездомный еврей без родовой крыши над головою, под которой можно бы укрыться от напастей и житейских невзгод. Где найти державы чудному живописцу от неистребимой мысли, что всё в мире временно, всё суета сует и томленье духа? Вот и писал со слезами на глазах; незамирающая печаль иссушала, отравляла ему праздник жизни, даже если и оказывался художник по случаю в сердцевине его. И потому столько последователей у Левитана, и так мало их у Шишкина с его могучим радостным гимном матери-сырой земле...»

Полукровки в чёрном квадрате

Разумеется, споры русских художников и литераторов позднесостойного и раннеперестроечного времени куда более как актуальны и сегодня. Даже гораздо более актуальны. Например, о русском и нерусском в нашей действительности.

Сегодня это уже даже и не действительность (как было раньше), а какая-то самоорганизация на уровне программы и манифеста. Время половинкиных — и в жизни и в литературе. Где автобиографическое даже в именах: Джон Половинкин, Гамлет Хайдуллаев, Отелло Качерян, а то и вовсе Святослав Рабинович. Смех смехом, но свои личные проблемы культурной и этнической самоидентификации они переносят на цельный и тысячелетний русский народ и пытаются навязать ему свои комплексы. Что в женской — наиболее восприимчивой до внешнего и некритичной части нашего народа — даже встречает некоторое сочувствие, до поры до времени, конечно, пока уж вовсе не вылезет из-за лацкана клубного общечеловеческого пиджака гоголевский нос, или, что чаще, свиное рыло. Они, половинкины, это глубинное отторжение чувствуют, и порой даже пытаются «понять» русское, пробиться к нему, порой даже совершенно искренне. Но тут же совершенно серьёзно обижаются, когда русское от них молчаливо закрывается. Обижаются надолго, чаще всего — на всю жизнь. Оно и легче — нырнуть обратно в свой тёплый муравейник, где все такие свои, проверенные, связанные тысячами видимых и невидимых линий. Уютно, сытно. Что ещё российскому интеллигенту надо?

А ведь из этого их культурного и цивилизационного зазора многое бы можно было увидеть — великое, удивительное, нам самим незаметное. Увидел же Даль! А возможно и Пушкин. Или — из наших современников — Михаил Тарковский. Для этого и нужно-то только одно: не учить русский народ, а учиться у него. Смириться. До простого мужичка-с, трудяги, пропойцы, если угодно. Или напротив: удивительного мастера... или ополченца.

Но куда там! Сорок веков спеси вопиют к Антихристу, даже если внешне и признали Христа.

Здесь нельзя не сказать и о современной «политической живописи». Недавно один известный политтехнолог, как говорят даже «серый кардинал» Кремля (врут, конечно), автор идей «суверенной демократии», а также «автокефальной олигархии», «модернизирующей офшоризации» и «духоподъёмной покемонизации» страны публично высказался об этом в статье «Одиночество полукровки».

Основной посыл статьи прямо скажем не нов. С оценочными колебаниями от маркиза де Кюстина до Збигнева Бжезинского включительно. С учётом мнений

о России «европейца» Мардохая Леви (в «крещении» Карл Маркс), корсиканского француза Буонопарте (в «коронации» Наполеон) и доктора без диссертации Йозефа Геббельса (просто Геббельс). Суть посылка очевидна и многострадальна: Россия — это кентавр, или, что хуже — полукровка. В разные периоды своей истории она скачет то на Восток, то на Запад. И то и другое — неправильно, скакать надо на месте (по заветам отцов-основоположников постмодернизма), можно даже придумать какую-либо кричалку — будет весело. Немножко кого-то напоминает, но это не страшно — скакать будем вместе. Тут уж, видимо, последнее место работы сказывается...

Возражать на всё это как-то даже неудобно. Такое ощущение, что небывалое отечественное интеллектуальное пиршество середины-конца XX века (от Бахтина, Гумилёва и Лосева до Кожина и последних открытий в генетике) прошло мимо господ политтехнологов. Или сознательно отправлено ими в игнор (схему ломает).

Русские никогда не чувствовали себя полукровками и своё государство ощущали как совершенно отличное как от латинян, так и от басурман. Уже как минимум в XV веке появляется основополагающее самоопределение нашей страны как Святая Русь, так же как и самоназвание 3/4 русского народа — крестьяне (то есть христиане), поэтому и в Смутное время и в Петровщину и после — движение к латинянам становится уделом ничтожно малой процентной доли «элит»: игры в масонство и, что то же — просвещение (просвещение «знанием», а не Христом) остаются глубоко чужды народу нашему и его пониманию особенности нашего пути.

То же и с Востоком: все обрусевшие и воцерковленные «татарские» фамилии (Аксаковы, Тургеневы, Карамзины) становятся величайшими патриотами России, так же, кстати, как и «немцы» — и на военной службе, и в Царствующем доме.

Историческое непонимание этого феномена свидетельствует лишь об исторической непричастности самих непонимающих к этому феномену, их общая судьба с Россией ограничивается XX веком.

В современной политической, экономической, культурной элите России, действительно, удивительно, даже оскорбительно много полукровок.

Вывод из статьи «Одиночество полукровки» адресован непосредственно российским полукровкам. Сформулировать его можно так: сама страна — полукровка, да ещё и они в ней — полукровки, получается — полукровки в квадрате, даже в чёрном квадрате. Потому что страна со своей культурой, историей, верой, в которой они живут — для них и есть чёрный квадрат, намалёванный когда-то Малевичем в красном углу на месте порушенных икон. Отсюда и Гоголь-Моголь-Центры, и вся та непередаваемая, чудовищная русофобия, которой имя уже целый XX век, от багрицких и меерхольдов до тридцатисеребрениковых и быковых включительно.

Другой вывод — человек, приведённый во власть Авеном, гарантирует «своим»: всё и дальше будет так же, будет пиар, будет постмодерн в политике, с сопутствующим обнищанием государствообразующего народа и «пенсионной реформой», но число долларовых миллиардеров будет расти.

Что ж, Запад их не принял, офшоры, яхты и футбольные клубы не помогли (Збигнев Бжезинский: «Это не ваша элита, это уже наша элита»), но и в Азию — ни-ни! Там Китай, там расстреливают олигархов и проворовавшихся чиновников, там... даже подумать страшно, особенно перед сном. Поэтому «мы пойдём своим путём» (где-то это я уже слышал), третьим путём, назовём его «суверенным путём».

Только вот времена всё более и более грозные, страшен реализм, как говорил персонаж Достоевского. Не заиграйтесь, господа. На ухабах русской истории и не такие ловкачи вылетали из птицы-тройки на полном скаку да и терялись в пыли от её копыт, даже имя их исчезало навеки. Надо посерьёзней как-то.

И если серьёзно, выход из этой ситуации представляется только один — воцерковляйтесь и обрусейте как Пастернак или Михаил Тарковский («родным в родную речь войти»), а если не получается или коробит... Сбережений у вас достаточно, счетов на Западе тоже. Дальше сами знаете...

Портрет с выколотыми глазами

Но это в сторону, хотя и лежит в русле ежеминутных личутинских мыслей и интуиций о России и русской культуре. Есть вещи и поважнее «мыслей о культуре».

Не случайно, что роман «В ожидании Бога» появляется накануне столетней годовщины убийства Царской Семьи. И это — основная сюжетная линия романа. Потому что нигде (!) я не встречал столько муки, столько безмолвного крика и надрыва души об этом страшном злодеянии, как у Личутина. Да простят мне сравнение — на ум приходит только старец Николай Залитский и его воинствующий с этим вневременным злом непокой, где вот так же через всю жизнь и молитву сияет непрекращающаяся боль о екатеринбургском сатанинском действе.

И новый роман Личутина — это одна сплошная мука: почему, почему, Господи?

Вспоминая слова Спасителя — во всей России не нашёл я такого покаяния, как в мятущейся, плачущей, вопрошающей этой книге!

Главный герой романа, писатель Николай Янин — удивительно, я бы даже сказал, промыслительно похож на последнего русского императора. От имени до внешности. Он эту внешность всю эксплуатирует, носит даже такую же бородку, почему и зовут его друзья «Коля Царь». А в друзьях у него, по Личутину, всё же выдуманные живописцы да всамделишные писатели.

«Рахманин сказал однажды:

— Не родись похожим на всесильного мира сего, — обстоятельства заключают, если ты тряпка, иль заведут в петлю, если впадешь в гордыню. Судьба того человека повторится в тебе. А ты, старичок, — копия царя Николая Второго. Это реинкарнация, перевоплощение, его душа заняла твоё тело и задушила его.

— И что, выходит, мне конец? — спросил я у Юрьи.

— Ну, зачем... Просто тебе нужны двойные, тройные усилия, чтобы не растянуться на ровном месте, кривое — выпрямить, не поддаться посулам, не свернуть за бесами. Они испытывают тебя на крепость, чтобы после купить подачами. А ты, Коля, к несчастью своему, в бутылку спрятался, в вине нашел себе Спасителя. Если ошибаюсь, извини, старичок.

— И всё-таки Николай Александрович, самодержец наш был не самый плохой человек в России, если супостаты, слуги антихристовы, отняли у него жизнь.

...Может всё наплёл Рахманин, спутал по обыкновению божий дар с яичницей, ведь я гол, как сокол, — думает дальше Николай Янин, — а царь Николай имел всё, и это Всё потерял одним часом на станции «Дно»: власть, государство, народ, жену, будущее детей и саму жизнь. Вся история отречения третьего марта семнадцатого года заняла сорок пять минут. Пришли два наглых прохвоста масоны Гучков и Шульгин и заставили написать отречение, якобы в пользу брата

Михаила. А ведь у Николая в услугах были армия, охрана, сыщики, верные черносотенцы, двор, поклонники из низов, жандармы, архирей, хоругвеносцы, да и сам Отец с Сыном и Святым Духом стояли за него щитом, ибо был государь наместником Бога на земле... Но не прошло и часа, как всё развеялось, словно дым, мара и кудесы, будто волшебный напуск и чары; власть оказалась миражом, в котором пропали, как ветром сдуло, три века династии, поклоны, марши, привилегии, богатство, латифундии, золото и алмазы...

Всё стремительно покатилося с горки, заколебалось, утратило жизненный смысл и путеводную нить, при царском Дворе «окаянные», потерявшие всякий разум, принялись неистово звать революцию, кричать скорых перемен, носить под окнами Зимнего красные флаги и алые банты в петлицах, призывая кровь и насилие...

Наверное, рассчитывали, де спасёт Николая двоюродный братец, английский король Георг Пятый, удивительно похожий обличем на русского самодержца, ну прямо копия, да начались интриги при дворе, наступили на родственную мозоль Ротшильды (еврейские ростовщики), для кого русская монархия, — кость в горле; запрудила и не проглотить; вот и не сладилось освобождение государя из рук «февралистов». Еврейский фунт стерлингов оказался куда весомее родства, вековых преданий, сострадания, той русской жалости, которая куда сильнее закона и самой правды...

И всё-таки виден отблеск святости на челе убиенного монарха, нечто такое необыкновенное в трагической его судьбе, что затушевывало слабость царской природы, заставляло русское сердце захлебнуться жалостью, а неискушенный простонародный ум — изумлением и негодованием к погубителям, — и тут невольно воскликнешь: братцы, а за что-о казнили!? Ведь не простой был в сущности человек, а обошлись, как с земной тварью, с таким презрительным унижением и садистским наслаждением, что вздрогнешь в недоумении, — а какой сатанист посмел на такое решиться!? Так небрежно, с издевкою и глумлением растоптали семью самодержца, и вот сама казнь невольно исполнилась неким сакральным неземным светом, указывая путь к церкви множеству в общем-то равнодушных, слабых в православной вере людей».

В этих постоянных вопрошаниях и боли о произошедшем и бьётся сюжетная линия романа. Основной, поворотный для многих героев повествования момент в книге происходит после пожара в мастерской одного из художников — Горыни. Мастерская ли в центре города, слава ли и успех «мазилки», духовные ли поиски Горыни тому виной, но его мастерская со всеми работами за многие годы сгорает. Всё свидетельствует о поджоге. Художник и его семья остаются буквально ни с чем. Уцелел только один портрет Государя в момент отречения.

«... Портрет русского императора с выколотыми глазами и дыркой во лбу притягивал взгляд. Царь Николай Второй стоит у окна, вполоборота, с опаской дожидаясь встречи с неверными, которую не избежать. Сейчас придут за отречением; уже не могут ждать, припекло чертей; уже копыта стучат. Несчастливая государыня, бедные дети... Душа плачет, отнимает всякую дерзость, мужество и отвагу. Всю ночь молился, стоял на коленях, просил совета у Господа; Он сказал, — откажись, не по сеньке шапка... Отсюда и нерешительность, шаткость во всей фигуре, в окне багровый закат, внизу чугунная недвижимая река. Наверное, до него уже донесли вести о близкой беде. Иначе откуда бы взялся признанию: «Всюду трусость, предательство и обман».

Но, увы, судьба всероссийского Отца родимого уже была тайно вырешена за океанами, но мало кто знал на Руси о мерзкой кощуне, затеянной придворными «амфисбенами» и ростовщиками. Мировые «каменщики» утвердили приговор, накидали на бумагу сургучных печатей, чтобы выглядело всё законно, и дело стало лишь за палачами, которых торопливо отыскивали на задворках Европы английские менялы. Даже во Дворце за царя перестали молиться, так нестерпимо захотелось от него избавиться и получить долгожданную волю, и денежную мзду; и пастыри скоро, опоённые ядовитым зельем неверия, отшатнулись от своего помазанника, перестали поминать на молитве, перекрыли голос церкви.

...И вот курки уже взведены, и ружья изготовлены к убиению царской семьи; нужна лишь решительная натура, готовая в последнюю минуту отвести ствол. Где они, куда попрятались эти жертвенные молитвенники, готовые свою жизнь положить за русского царя? В каких чащобах заблудились «черносотенные фаланги» под имперскими стягами? Какое-то окаянное непробудное «очарование» вдруг накатило на Русь, и многие, скоро упав духом, приготовились испить смертную круговую чашу. Ещё не начиналось сражение, а они уже возлегли на одр, скрестив на груди руки. В рай заспешили, в рай... А другие бросились бежать стремглав за бугор...

На недвижной чугунной реке в углу холста Янин разглядел вроде бы случайные невнятные слова: «Мене, текел, фарес».

Горыня ли нацарапал пророчество иудеев в пьяном уме, иль чужая умышленная рука вдруг напомнила о себе, прежде чем сжечь мастерские? Что-то подобное было написано на стене Ипатьевского дома после казни гнезда Романова, когда отправили в «господеви покой» батьку с маткой и всё гнездо...»

И в этом самом портрете (за рамой) найдут приятели забытую записку на чёрный день, тысячу зелёных заокеанских бумажек, да только не пойдёт она художнику Горыне впрок (тут уж привет Николаю Васильевичу Гоголю с его «Портретом») — покатится художник с этих самых денег вниз да по наклонной, поедет рисовать портреты европейских заправил да ротшильдов, сытно заживёт, но... тоскливо. Может та же рука, что сожгла мастерскую и глаза Государю на портрете выколола, и деньги эти проклятые подбрехала? Личутин не уточняет.

А сам Янин, «Коля Царь», так неудачно примеривший на себя судьбу последнего русского самодержца, лишится глаза от снайперской пули и едва выживет в топке новой русской революции — в Октябре 1993 года.

Но и это пройдёт, всё успокоится, быльём порастёт, новыми заборами от старого мира отгородится — и останется в конце романа, так же как и в его начале, только одно: что же произошло в ту страшную июльскую ночь в подвале дома Ипатьевых в Екатеринбурге? Почему это так болит и не отпускает душу русскую? Почему, Господи?